Будь готов, всегда готов...

Рассказ

В ТРЕТЬЕМ классе меня приняли в пионеры.

С конца марта Оля почти не говорила со мной: не выходила из кабинета на переменах, не разрешала провожать. В пятницу же, оставались последние дни до посвящения, Оля сама подошла ко мне. На Жучкиной могиле я поклялся, что двадцать второго всё закончится, — я скажу Мишке Рябову. Оля хотела, чтобы я сказал Рябову именно двадцать второго, потому как «это особенный день, а в особенный день всё и должно закончиться». В понедельник Оля не пришла в школу и в следующие дни не появлялась.

В день посвящения Оли тоже не было.

Я попал в школу чуть позже назначенного: я вышел задолго, но медлил в парке; на ветках набухли почки — я рассматривал их. Виктория Осиповна провела нас по коридорам в актовый зал. Классы расставили в ряд. Пацаны отдельно, я — между Свирниным и Королёвым.

Завуч, пожилая дама в чёрных пиджаке и юбке, «напомнила» «в первую очередь об ответственности и обязанностях», Виктория Осиповна рассказала о том, как «и она когда-то», руководительница «Б» класса закончила свою речь, высказав мнение, что «каждый должен через это пройти».

Из наших Мишку приняли первым. Ему повязали галстук, он круто повернулся на каблуках и отдал честь завучу — девочки смеялись. По одному вызывали к столу, повязывали галстук и каждому вручали крендель с подноса.

Виктория Осиповна повязала мне галстук и, протянув крендель, сказала:

— Будь хорошим мальчиком.

Клясться не заставляли: это был две тысячи четвёртый год.

Когда церемония посвящения окончилась, завуч опять взяла слово:

— Теперь, ребята, вы должны беречь почётное звание...

Распустили по домам.

Возле гардеробной пацаны, споря, надевали куртки:

— Чёрная Смерть его победит! — настаивал Дзюба.

— Она и Леонардо победит?.. — с улыбкой недоверия спросил Ефрем.

— Да какой там Леонардо! — ответил за Дзюбу Мишка.

Я подошёл к ним.

— О! Гляди, — Дзюба первым увидел меня.

Ефрем посмотрел на меня настороженно, Карась — со смешком, а Рябов — спокойно, но будто подозревая что-то. Я растерялся — чересчур тяжко стало, придавило внутри — и молчал.

— Мы вот думаем к Саньку Молочному пойти, пекашей раздобыть, — глядя мне в глаза, произнёс Рябов. — Пойдёшь с нами?

Саша Молочный из «А» класса жил недалеко от школы.

— Пойду, — я решил, что лучше сказать Мишке один на один.

Молочный, тёмно-русый высокий мальчик в куртке с наклейкой «W» на груди, ждал на выходе, мял в руках галстук — удивлённо глянул на меня.

— Ты чего это галстук снял, а? — Рябов дал Саше шуточный подзатыльник.

На улице было тепло, но с прохладой. Стояли лужи. В небе казалось совсем спокойно — ни облачка. Во дворах по-над заборами, как полумёртвые, дубы, ивы, жердёлы, вишни... — их корявые ветви торчали в небо, и оттого небо чувствовалось всюду проткнутым. Но набухали почки, скоро должно было зацвести.

Пацаны разговаривали между собой, я шёл чуть в стороне. Пацаны жевали кренделя, продолжали спорить:

— А если Рафаэль против Чёрной Смерти?

— Нет, черепашек он бы всех загасил...

Меня удивляло, что Саша так развязно общается с пацанами. Раньше он боялся нас, и мы знали об этом. Саша ни с кем не дружил, за него никто не «подписывался» — был беззащитен. Теперь же он отвечал Мишке на равных.

Поначалу я слушал их, сдерживаясь, чтоб не вставить своё: я был уверен, что Шреддер победит Чёрную Смерть. Но скоро отстранился: на меня нарочно даже не смотрели. Я задумался о своём.

Мой крендель лежал во внутреннем кармане олимпийки: вот скажу Мишке и пойду к Оле, воображал я, сдержал я клятву, скажу, и на тебе крендель.

Молочный жил в небольшом кирпичном доме с деревянными выкрашенными в синий ставнями. Саша выдвинул из-под кровати ящик с игрушками, сам раздавал пистолеты. Мишке выдал пластмассовый кольт, пацанам тоже пластмассовые, мне же досталась засохшая ветка с примотанным к ней скотчем снайперским прицелом.

Обзаведясь пистолетами, пошли в парк.

— Я придумал. Будем пионеры-герои, у каждого своя способность, — начал Дзюба; его веснушчатое лицо приняло лисье выражение, — я — молнии, Санёк — заморозка, Ряба — силач, Ефрем — скорость...

— А я? — Карась возмутился, что его забыли.

— А ты — пердун!

Мне стало обидно, что Дзюба не придумал для меня способность: для Карася придумал (хоть и шуточную), для Молочного придумал, а для меня нет. И с пистолетом меня обделили, и вообще — обделяли вниманием. Пацаны смеялись, Саша обхохатывался, одному мне было не смешно.

«Я ведь не сказал Мишке... Почему они так со мной?»

Я попытался заговорить с Ефремом:

— Как думаешь, а если Шреддер против Чёрной Смерти?

Ефрем сделал вид, что не услышал.

«Они все что-то подозревают», — мелькнула мысль.

Играли три на три: я, Ефрем, Карась против Рябова, Дзюбы и Саши. Ефрем с Карасём играли вместе — убежали от меня, мне пришлось бегать-отстреливаться в одиночку. Мишка Рябов стрелял и кричал:

— Убил! Убил!

...Я вернулся домой поздно, около восьми, и получил за это и за колени на брюках, вымазанные травой, взбучку. Рябову я так и не сказал — нарушил клятву. Крендель потерял.

Остался галстук.

Я поужинал и сразу лёг спать. Брат был дома.

— Так ты теперь коммуняка? — увидел он брошенный на стол пионерский галстук. Брату было семнадцать, его в детстве не посвящали в пионеры: тогда этого не делали.

* * *

До той весны Рябов, Дзюба, Карась, Ефрем и я считались лучшими друзьями. Виктория Осиповна в пример классу ставила, мол, маленькие, а дружба какая! В школе нас знали: по школе мы ходили только вместе.

— Бандиты, — при виде нас посмеивалась директор.

Мы как-то сдружились с самого начала, с первого класса. И не потому, что жили по соседству (Рябов с Карасём так вообще через дом)... хотя из-за этого тоже. Были мы все из семей одинаково бедных, простых, об одних игрушках мечтали, на многое в мире смотрели похожим взглядом, просто как дети, которым хотелось того, чего у них не было.

Все мы мечтали о «компе», обожали мультики или, например, фильмы с Джеки Чаном. Этого было достаточно.

Лет с пяти-шести я знал Ефрема. Его отец сотрудничал с моим отцом в бизнесе, и Ефрем пару раз гостил у меня. Но в школе я его не приметил. Я не помнил его лица.

В первые дни школы, в отличие от многих ребят, я ни с кем не подружился. Перемены сидел в кабинете, рисовал, ковырялся в пенале. Закончились уроки — бежал домой. Я не хотел ни с кем дружить.

Начало дружбы было вынужденным.

Это произошло, наверное, после нескольких недель учёбы. На перемене я, как всегда, сидел в кабинете, дожидался урока, и вдруг ко мне подошёл мальчик-детдомовка, одноклассник Серёжа. Я очень боялся детдомовских. В моём классе из детдома был Серёжа и крупная девочка в светло-коричневом сарафане. Наши сочиняли, что детдомовские заразные: от них можно заразиться смертью и родители умрут. Но я не верил в такое. Я боялся детдомовских чутьём (оба, и Серёжа, и девочка, перевелись в другую школу со второго класса).

Серёжа подошёл ко мне и сказал гадость. Я совсем не умел отвечать. Я подскочил со стула и ударил Серёжу.

Нас разнял Мишка: Виктории Осиповны в кабинете не было. Мишка оттащил от меня Серёжу и сказал ему, что я «свой», «трогать» меня нельзя, меня же вывел во двор и дал платок, чтобы я утёрся: Серёжа попал мне по губе, я плакал.

С того дня мы с Мишкой подружились.

Самые яркие из впечатлений первого класса — наши пробежки по школе, игры в парке Горького, заброшенный дом. В этом доме мы находились минут пять, но я запомнил его на всю жизнь.

— Смотри, шприц! — Ефрем показал рукой на подоконник, Ефрем глядел с ужасом.

Мы постоянно были вместе.

Весной, намаявшись в школе за зиму, мы придумали себе в парке «штаб», тайное место за детским автодромом: перед тем как рвануть играть, мы скидывали там портфели, иногда сидели там, травили байки; за клеткой автодрома (метр от земли — сплошное железо) нас было не видно.

Двадцать пятого мая каждый из нас принёс по вещице. Я принёс найденную дома под столом сиреневую пуговицу, Карась — обмылок, Дзюба — коробок спичек, Ефрем — фантик, а Рябов — стекляшку. Всё это мы сложили в кулёк и запрятали его в вырезанном из шины лебеде — в клумбе рядом с пятиэтажками. Так мы скрепили нашу дружбу.

На лето расстались: я поехал к бабушке, затем к тёте... Я сначала скучал по друзьям. Но, вернувшись домой, постеснялся их. Сходил к Ефрему — его не было дома, — а к остальным не ходил.

...Во втором классе в День знаний Мишка показал нам нож:

— Этот ножик мне Перс дал, он им наркош резал, — в руках у Мишки был складной нож; красная деревянная рукоять, на лезвии выбита надпись латиницей.

— Одному наркоше прямо в шею, другому в живот, — поглядывал на нас Рябов, — раз сто. Только вы никому!

Со второго класса Мишка сильно изменился. Он начал общаться с третьим, четвёртым классами, а на большой перемене, бывало, стоял со «старшаками», парнями из девятого класса. Ходил к ним сам, возвращался серьёзный.

— И о чём ты с ними? — интересовался Дзюба.

— Не твоё дело, — было время, когда Мишка отсел от Дзюбы.

Я не понимал, что случилось, отчего Мишка так изменился, обособился от нас. Никто из нас не понимал. Ефрем думал, что летом Мишка сам убил кого-то:

— И выпил крови, — добавил Карась.

Но однажды Рябов позвал нас с собой. Мишка разговаривал с четвероклассником — мы стояли за Мишкиной спиной.

...Во втором классе всё и началось.

Это было в октябре-ноябре: помню, что было слякотно; листья в парке смешались с грязью, не шелестели под ногами, а вдавливались в землю.

После школы Мишка предложил пойти в парк — в войнушки. Особо никто не хотел.

Тем более и пистолетов не брали. Но согласились: Мишка редко играл с нами, мы отвыкли от него — и всем нам хотелось поиграть, как играли раньше, до лета.

Сбросили в «штабе» портфели, разошлись по парку в поисках оружия. Я подобрал покрытую мхом корявую ветку.

На счёт десять — игра.

И вот перестреливались мы, перекрикивались (оно же и не важно, попал — нет).

— Убит! Убит! — завизжал Карась, со смеху заливался: Рябов напрямую к нему, ветку свою отбросил, а Карась пятился, стрелял.

Но Мишка не умирал. Налетел на Карася и по лицу. Дзюба тут же: обхватил Карася со спины, повалил в листву, в грязь. Дзюба держал, а Мишка бил. Карась кричал, плакал.

— Ты зачем, падла, меня Свирнину сдал? — лепил пощёчины Рябов, и по голове кулаком.

Мы стояли с Ефремом, смотрели... с ветками своими. Мишка с Дзюбой ведь сами решили — нам и не сказали.

Мишка плюнул Свирнину в портфель, а Карась разболтал (они со Свирниным за одной партой сидели). Мишкиных родителей вызвали в школу.

Дзюба отпустил Карася, Рябов встал, повернулся к нам:

— Скажете кому — отхватите.

Это называлось «тёмная».

— Получил Карась лещей, — сострил Дзюба по пути домой.

Карась шёл позади нас, куртка, штаны вымазанные, сам заплаканный, ссадина под глазом.

Придя домой, из опасений я не рассказал маме и папе — ждал брата.

Брат был взрослый, приходил домой поздно. Он постоянно где-то пропадал, занимался спортом. То ездил на соревнования, то ещё куда-то... Он мог бы меня защитить.

После того как мама уложила меня, я оделся, включил настольную лампу — решил дождаться брата.

Но сел на край кровати и уснул.

И снилось мне что-то страшное.

...В третьем классе Мишка был уже признанным нашим лидером.

В школьном дворе, во всей начальной школе, нас боялись. Завидев нас в коридоре, многие ребята прятались по кабинетам. Все знали, что за Рябова «подписывается» Перс, парень из девятого класса, по слухам, «шестёрка» у бандитов, — нам и не пытались противостоять.

— Ты чё, не знаешь, кто мы? — отвечал Мишка на всякое сопротивление.

«Тёмные» мы устраивали постоянно. Поджидали виновного в парке или сами туда вели, если знали, что виновный через парк не пойдёт.

— Поговорить надо... — и кто-нибудь обязательно держал жертву за рукав или шиворот куртки.

Били за автодромом, в «штабе». Ефрем стоял на шухере, били втроём, один обязательно наблюдал, чтоб слишком не поранили.

Больше всего на «тёмных» доставалось Свирнину и Толмачёву. Свирнину за то, что он был двоечник и «урод», Толмачёву за дерзость.

...Так я прожил до той весны.

К марту лежали сугробы. Мы играли в снежки с четвёртым «Б». Мы играли в парке — строили снежные «базы», прятались от снежков за деревьями.

В разгаре битвы я заметил девочку. Она стояла метрах в десяти от нас, на аллейке, неподвижно, смотрела на что-то.

Я вернулся к игре, но вскоре моё внимание снова отвлекли:

— Фу, гадость! — и все играющие разом уставились в одно место. Став на задние лапы, в урне на аллее рылась мордой жуткая псина. Псина была тощая, облезлая и, что больше всего испугало меня, одноглазая. На неё и смотрела девочка.

Через секунду в псину полетели снежки. И мы, и четвёртый класс, на ходу подхватывая с земли снег, побежали за ней, погнали её по аллее через парк.

Вместе с нами бежала за псиной незнакомая девочка.

Псина быстро драпала, отбегала на расстояние и, отряхнув с шерсти снег, взглядывала на нас одним глазом.

Мы почти выгнали её, но на выходе из парка псина нырнула под стоявший у здания администрации ПАЗ. Засев там, она не реагировала на снежки.

Все было расстроились, и тут я вспомнил, что в кармане у меня лежит коробок с петардами.

«Пацанам понравится», — подумал я.

Я зажёг петарду об тёрку и, присев, бросил под ПАЗ. Хлопок — псина с визгом вылетела из-под автобуса и бросилась на дорогу. Не успев, попала задом под встречную машину и, уже прихрамывая, затрусила по улице.

— Дурак! — кинулась за псиной незнакомая девочка.

Этой девочкой была Оля.

* * *

История же с Олей была совсем древняя. Первобытный мир.

Когда-то мы любили друг друга. Но в школы нас отдали разные.

Я по-настоящему тосковал об Оле. Писал ей письма, вырезал валентинки. Складывал разноцветные (истратил на них целую пачку картона) в тайную коробку в хате (обычная из-под обуви). Однажды в феврале, в жуткий мороз (холод пробивал подошвы, и дома, стащив ботинки, я долго не мог пошевелить пальцами ног), я без спросу — сам отыскал детсад: надеялся, вдруг Оля осталась у них на лишний год. Так я хотел увидеть её.

И вот — увидел: после зимних каникул Оля перевелась к нам в школу, в третий «В».

— Смотри, какая дурында! — раскрыл рот от восторга (с ним часто бывало) Карась.

Я сначала не узнал её. Только глядел, будто похожа. Не вспомнить на кого.

Она сильно выросла за два года и была, может быть, выше меня. И лицо её изменилось: покрупнело и стало бледней. И вся она: вся стала какой-то большой и серьёзной...

После случая с псиной я начал замечать её.

Я видел Олю в коридоре, когда мы с пацанами «делали обход», в столовой. Видел её в парке. Всматривался в неё издалека. Вспоминал.

Всякие глупые, совсем детские воспоминания.

— Новенькая у вэшников больная, — рассказывала Ира, моя одноклассница, — я к ней подошла, «привет» говорю. А она отвернулась.

— Ты у неё ещё что-нибудь спрашивала? — не сдержался я.

— Что мне у неё спрашивать? — удивилась Ира.

Я долго присматривался к Оле: она или не она? Да и если она, то что?

Побаивался её: не выдержу, подниму на неё глаза — а она стоит, на меня смотрит. Строго так смотрит, но тихо. В сто раз хуже, чем Виктория Осиповна.

«Что ей от меня надо, — наконец злился, паниковал я, — пялится всё, уродина тупая, пялится, а разве я обязан!»

Давным-давно я поклялся ей, я помнил это точно. Но о чём поклялся, я не помнил.

Теперь же, взрослый, повидавший на своём веку и многое о жизни понявший... совсем не тот! — я не хотел исполнять свою клятву (любую!).

Я долго мучился из-за этого. Никому не рассказывал о своей тайне.

«И что теперь, я обязан на ней жениться? — не мог заснуть я по ночам. — Поклялся когда-то... ну и что? Если я нарушу, никто же из-за этого не умрёт...»

И я подумал: а что, если правда, что, если я нарушу клятву, кто-нибудь из моих близких умрёт?

Наконец я вспомнил про ту давнюю коробку и, желая узнать, что я клялся сделать и чем клялся, отыскал её.

Она лежала в шкафу, всунутая между старой одеждой и обувью.

Я раскрыл её и удивился.

«Как глупо я писал, — подумал я, — неужели я был таким дурачком?»

На грубо обрезанных кусках картона отдельные слова, рисунки.

«Пчела» — и к слову подрисованы пчелиные крылья.

Я придумал написать новое письмо, отдать его Оле.

Я сел за стол, взял ручку, вырвал лист:

«Привет. Я тебе клялся, но это было давно и не считается. Поэтому я забираю свою клятву».

С этой запиской я пришёл в школу. На большой перемене, держа в руках записку, я направился прямо к Оле.

— Помнишь меня? — спросил я.

— Помню, — ответила Оля.

С того дня мы начали дружить.

* * *

Я сказал пацанам, что у меня остались «дела» в школе.

— Какие такие дела?

Мне нужно было вытерпеть перемену и сорок минут урока. Итого пятьдесят минут. Я с тоской представил, сколько всего мог бы сделать за это время: мог бы отобедать, посмотреть телик, сесть за домашку (ну, хоть начать, хоть одно упражнение!), мог бы уже, вполне возможно, сделать и больше (почему нет?), сделать то, чего вообще никогда не делал!.. Но до звонка я простоял у входа, а когда прозвенел звонок, пошёл бродить по коридорам.

Я ещё ни разу не оставался в школе после уроков. Школа во внеучебное время чувствовалась по-другому. Мой класс ушёл, и теперь она казалась громадной и чужой. Я её не узнавал. В некоторых местах в школе я действительно до этого не был; мы бегали по первому этажу — на второй, на третий (там одни «старшаки») поднимались редко, вылазками. Особенно меня поразил стенд на втором этаже. На чёрно-белых фотографиях (на распечатках фотографий) были запечатлены горы трупов, плачущие люди, танки.

«А можно ли тут ходить?» — подумал я, и решил вернуться на первый этаж.

До звонка я просидел на диване, стоявшем рядом с «зелёным уголком». Несколько раз порывался уйти, доходил до выхода и обратно, на диван: ведь я пообещал.

Так и сказал:

— Обещаю, что дождусь.

Оля не просила, чтобы я обещал, — я сам пообещал. Сам узнал, можно ли подождать её после уроков, сам и пообещал.

Звонок, и я, похолодевший от волнения, обречённый — в полнейшем провале я не сомневался — иду, несу себя к гардеробу:

— Ты всё?

— Да, пойдём.

На улице мне полегчало. Мы вошли в парк; пацанов в парке не было, кое-где от аллей в глубь парка я заметил на снегу следы ботинок, весёлых падений и загребавших снег рук.

Я опомнился:

— А можно я понесу твой портфель?

— Неси.

Я взял Олин портфель в руки (благо у меня были перчатки), как чемодан, и мы пошли дальше.

Оля жила далеко от моего дома. Мы долго шли по знакомой мне улице, по асфальту. Потом свернули с неё. Скоро я понял, что не представляю, где нахожусь. Мы несколько раз перешли с одной улицы на другую, шли через какие-то страшные места: заброшенные хаты, серые домишки, собаки без привязи.

Я усиленно пытался запомнить названия улиц, приметить дома, чтоб по ним ориентироваться.

Наконец мы пришли.

Оля жила в большом шелёванном доме. Дом был совсем не новый, однако и не старый, не развалина. Во дворе, присыпанные снегом, стояли стол и две скамьи.

Я отдал Оле её портфель. Оля сказала мне «пока», и я отправился домой:

«Разве так всё должно заканчиваться?» — недоумевал я.

Конечно, на обратном пути я заплутал.

* * *

Оля была странной девочкой.

Каждый день после уроков мы возвращались домой вместе. Я приспособился и в понедельник и четверг (в эти дни у Оли был кружок по рисованию) приходил в школу с тетрадями для домашних работ; занимался в свободных кабинетах. В другие учебные дни мы уходили из школы сразу.

Оля почти не говорила со мной. Чаще всего за весь путь она не произносила ни слова. Могла попросить меня остановиться. Вытаскивала из портфеля пакет с двумя-тремя кусками хлеба, и мы шли дальше. Хлебом Оля кормила встречных бродячих собак. Я пытался что-то рассказать, пошутить, но Оля не реагировала на меня. Она молчала или в открытую могла сказать:

— Заткнись.

Я обижался, порой мне хотелось даже ударить Олю. Я не понимал: что я делаю неправильно, почему она так обращается со мной?

Она забирала портфель, говорила мне «пока» и уходила. И так каждый раз.

Я чувствовал, что я неприятен ей.

Я стал замечать, что и в школе Оля всё время была одна. Перемены она простаивала в коридоре у окна или сидела в классе. С другими девочками не дружила.

«Вот угораздило меня ей поклясться, — досадовал я, — если бы знал, что она будет такой дурой, никогда бы этого не сделал!»

Но больше всего меня раздражало то, что все одноклассники вскоре узнали о нашей с Олей «дружбе». Пацаны увидели нас в парке, и на следующий день перед звонком, когда я пришёл в школу, Виктория Осиповна подозвала меня к себе и спросила, знаю ли я, как вести себя с девочками. Девочки-одноклассницы при виде меня начинали шептаться:

— Как дела, бабник? — спросил меня Ефрем. Я накинулся на него.

А когда в школе мы стояли под лестницей, Рябов при всех спросил меня:

— Она тебе показала...? — и он застыл, глядя на меня с лукавой улыбочкой.

Пацаны все тоже затихли, ждали ответа.

Я же вспыхнул и ушёл: я не понял, о чём он меня спросил, понял только, что о чём-то страшном.

Мама же, когда я рассказал ей, во что я «влип», посмеялась и сказала мне, что я не должен провожать Олю, если мне не хочется, не обязан этого делать.

Но она же не знала про клятву...

Так я проходил около двух недель. Я провожал Олю и после обещал себе: «Этот раз был последний». Но на следующий день встречал Олю у гардеробной и снова провожал.

Мне казалось, что это никогда не закончится, я уже выдумал себе, что это вроде кары за мои грехи.

Но в один из дней, когда я подал ей портфель, Оля не сказала мне «пока», а спросила:

— Хочешь есть?

— Не знаю, — я смутился.

— Мама пирог испекла.

Оля смотрела на меня в упор (она редко на меня так смотрела), я видел, что она злится.

— Хочу, — решился.

* * *

Оля быстро разулась, вошла к себе в комнату. Тёть Аня, мама Оли, провела меня на кухню. На столе уже стояла тарелка с пирогом, три белых с красной окаёмкой блюдца и три красных в белый горошек чашки.

Я сел на указанный мне табурет. Сразу проблема: куда девать руки? На стол их нельзя (или нельзя одни локти?).

Тёть Аня поставила греться чайник, села за стол.

Я сложил руки на коленях, выпрямил спину и зачем-то сказал: «Здравствуйте».

Тёть Аня улыбнулась (вид у меня, конечно, был смешной), я подумал, что тёть Аня очень красивая. Я заметил это, уже когда она встретила нас на пороге (длинные тёмно-русые волосы, доброе лицо).

Несколько вопросов об учёбе, о том, чем я увлекаюсь, есть ли у меня брат или сестра (стандартный набор всех «тёть», но я отвечал всерьёз, стараясь показать себя и мою семью с лучшей стороны) — закипел чайник.

— Позови Олю, а я пока кипяток разолью, — сказала тёть Аня. Я мигом подскочил с табурета.

Я приоткрыл дверь и заглянул в Олину комнату.

Комната была довольно просторная и светлая. Окно без штор, на стенах бледно-золотые с белыми узорами обои (я разглядел в узорах цветы), белёные потолки. Но так же, как и во всём доме, в комнате почти не было мебели: письменный стол, на вид очень старый, слишком громоздкий для маленькой девочки, деревянный стул и кровать — всё.

Оля лежала на кровати лицом к стене.

— Оля, чайник закипел, — я вдруг понял-почувствовал, что ни разу не называл Олю по имени.

Оля даже не шевельнулась. Я немного подождал:

«Может, и хорошо. Попью чай с тёть Аней», — подумал я.

Мне пришло в голову, что это даже лучше — пить чай без Оли: Оля хмурая, а тёть Аня красивая и приятная, с ней приятно говорить.

— Спит, наверное, — сказал я тёть Ане (я надеялся, что она не захочет будить), но только присел, вошла Оля.

Несколько минут ели молча.

Оля ела, опустив глаза, но я и не смотрел на неё.

Я жевал, стараясь меньше двигать челюстями, поминутно вытаскивал из кармана брюк платок, чтобы вытереть губы (салфеток на столе не было), иногда отпивал из кружки (а это — целое приключение) — в общем, выжимал из себя максимум воспитанности, мне было не до Оли.

— Как прошла контрольная?

— Её не было, — ответила Оля.

Я съел первый кусок, допил первую кружку; внутри меня теплело.

«Какие же они бедные, — подумал я, — даже телевизора нет!»

Насколько я знал, у Оли не было и папы.

«Вот бы им чем-нибудь помочь, — представлял я, пережёвывая второй кусок, — принести бы им телевизор, подарить бы денег. Я пришёл бы и сказал, что сам заработал. Держите, тёть Аня! Хочу вам помочь!»

Наконец тарелка была опустошена; тёть Аня приступила к делу:

— Оля собирается завтра идти в парк. Пойдёшь с ней? — спросила тёть Аня; я удивлённо глянул на неё, затем на Олю. Оля сидела, опустив глаза, совсем красная — до того я этого не замечал.

— Пойду, — ответил я.

Тёть Аня проводила меня до калитки, сказала приходить к трём.

* * *

И опять разные чувства переполняли меня. Я не знал радоваться мне или бояться. Я ничего не понимал, почему так вдруг. Да и зачем Олиной маме...

«А может, это сама Оля меня пригласила?» — я сразу и не подумал о таком варианте.

Дома я рассказал обо всём маме, и она долго смеялась с меня, говорила, что я донжуан и что первое свидание в десять лет — рекорд.

К вечеру я было совсем успокоился: все дома смеялись, в шутку хвалили меня, брат начал учить, что говорить, конечно, тоже в шутку.

Но ночью я долго не мог заснуть. Слово «свидание» не давало мне покоя.

«Да я же совсем не умею. О чем я с ней буду говорить (она же со мной не разговаривает!), что делать. Я сделаю всё не так, и она уж точно теперь решит, что я дурак».

Мысль и похуже посетила меня: «Неужели она хочет мне показать...?».

На этой мысли мне стало совсем тошно. И я заснул с тягостным чувством.

Я пришёл за Олей, как и договаривались, ровно в три. Она уже ждала на скамейке перед домом.

Мы пошли в парк, как и всегда, молча. Я даже и не пытался заговорить.

В парке все таяло, появились первые травинки.

За автодромом, кажется, никого не было.

Мы с Олей бесцельно молча ходили по тропам. Оля останавливалась тут и там, поднимала из снега ветки, бросала их. Я ходил за ней, ничего не делал, вдыхал прохладный воздух, ощущая, как грудь наполняется им.

Наконец мы присели на скамейку. Оля держала в руках две тонкие коротенькие ветки. Я спросил её, не надеясь на ответ, зачем они ей.

— Сейчас покажу, — ответила Оля резко.

Я очень удивился.

— Пойдём, — Оля поднялась со скамьи. Я пошёл за ней. Мы вышли из парка, прошли за пятиэтажками на пустырь, на котором стояло одно заброшенное белое здание.

«Я так и думал... — я начинал паниковать, — она заведёт меня туда и покажет...»

Над забитым досками входом в здание рельефом были цифры «1908». В запылённых окнах невозможно было что-нибудь разглядеть.

Ступая по подталому снегу, мы зашли за здание. На расколотом шиферном листе перед стеною лежала тонкая заржавевшая труба.

— Вот, — Оля указала мне.

В углу у стенки я увидел труп той самой одноглазой псины.

Я несколько секунд смотрел на труп: псина издохла; она спала в ямке под зданием, раскинув лапы, уткнувшись носом в землю.

— Это ты убил Жучку, — сказала Оля.

— Я не убивал, — ответил я, даже не поняв, о чем это она: я завороженно глядел на псину.

— Это ты убил её! — вскрикнула Оля, и через секунду я упал на колени от сильного удара. Я схватился за голову, в ужасе обернулся. Оля держала в руках трубу, лежавшую до того на шифере.

— Это ты убил её, я видела, вы кидали в неё!.. — кричала она. Оля была в слезах, смотрела на меня с восторженной яростью.

— Я не убивал, — закричал и я, но Оля в ответ еще раз с размаху ударила меня, в этот раз по спине. Я пригнулся к земле от боли, мне тоже захотелось плакать. Но я сдерживал себя (мне было бы стыдно заплакать).

— Я не убивал, — повторил я вполголоса. В трёх метрах от меня лежала псина. Я почувствовал, что от неё несло. Мне вдруг поплохело.

Какое-то время Оля и я молчали.

— Похорони Жучку, — сказала Оля, — засыпь её.

— Не буду, — ответил я. Оля снова вдарила мне трубою по спине.

Я отыскивал под снегом камни, обломки кирпичей — весь твёрдый мусор, валявшийся на пустыре. Засыпал им Жучку.

Через часа полтора-два работа была окончена. Я прикрыл холмик над Жучкой куском шифера.

Я очень устал.

Оля стала рядом со мной, измождённым, на колени, сложила на шифере две ветки из парка крестиком, заплакала.

Я плакал тоже.

Было уже совсем поздно, когда я довёл Олю до дома.

Я попрощался с ней, она кивнула мне, и мы разошлись.

* * *

В понедельник, когда я прощался с Олей, она сказала мне, что я должен «покончить со злом» — остановить Рябова.

* * *

Двадцать третьего апреля Оля пришла в школу.

Я увидел её в коридоре, она смотрела на меня издалека.

Я пошёл к пацанам. Они пинали мяч во внутреннем дворе школы. Сегодня они пришли все в пионерских галстуках. Виктория Осиповна за это их очень хвалила.

Я приблизился к Мишке. Он, недоумевая, уставился на меня.

— Мишка... — начал я и вдруг запнулся.

Пацаны заулыбались, Карась пнул Ефрему мяч.

— Мишка, — собравшись с духом, продолжил я, — я больше никогда не позволю тебе делать зло.

— Чего?.. — вылупился Мишка; я ударил его по лицу, разбил нос в кровь...

Я подал портфель, она сказала «пока».

Я шёл от Оли, сознавая, что завтра меня ждёт «тёмная».

Они спрячутся в парке или выйдут ко мне навстречу в открытую. Ефрем будет стоять на шухере, Дзюба и Сашка Молочный набросятся на меня, повалят на землю, Ряба будет бить.

Дома я не нажаловался. Сел за стол в хате и начал писать предсмертную записку. Смял несколько листов.

Я вспомнил о старых дурацких записках к Оле: «Помогли же они мне в прошлый раз».

Я полез в шкаф, вытащил коробку, открыл её и увидел в ней пистолет.